

М. НОЛЬМАН

## ПУШКИН И СААДИ

(К ИСТОЛКОВАНИЮ СТИХОТВОРЕНИЯ «В ПРОХЛАДЕ СЛАДОСТНОЙ ФОНТАНОВ»)

## 1

История пушкинского стихотворения «В прохладе сладостной фонтанов» не совсем обычна. Опубликованное П. Е. Щеголевым<sup>1</sup> в 1911 году по черновику, пролежавшему в бумагах поэта почти сто лет с момента создания (предположительно 1828 год), это стихотворение стало камнем преткновения для самых искушенных пушкинистов благодаря своей «загадочной» концовке:

Но ни один волшебник [милый],  
Владелец умственных даров,  
Не вымышлял с такою силой,  
Так хитро сказок и стихов,

Как прозорливый «и» [крылатый]  
Поэт той чудной стороны,  
Где мужи грозны и косматы,  
А жены гуриям равны.<sup>2</sup>

В 1938 году попытался расшифровать стихотворение М. К. Азадовский. Он предположил, что, говоря о «прозорливом и крылатом поэте», Пушкин имел в виду Шота Руставели.<sup>3</sup> Однако большее распространение получила гипотеза Н. В. Измайлова (1939 год; статья на эту тему появилась в 1952 году), который рассматривал стихотворение как посвящение Мицкевичу.<sup>4</sup> Она была поддержана Д. Д. Благой<sup>5</sup> и принята авторами ряда статей и книг в качестве важнейшего штриха в истории взаимоотношений Пушкина и Мицкевича,<sup>6</sup> прочно вошла в справочный аппарат десятилетнего собрания сочинений Пушкина (Изд. АН СССР, М., 1956—1958) и всех последующих изданий.

Между тем видеть в пушкинских строфах указание на Мицкевича нет достаточных оснований. Данная гипотеза не подкрепляется ни обликом «прозорливого и крылатого поэта», ни характеристикой его «чудной стороны», ни смыслом стихотворения в целом; наконец, она не свободна от некоторых противоречий.

В начале, середине и конце стихотворения «В прохладе сладостной фонтанов» сопоставлены и противопоставлены виртуозы-«волшебники» не разных культурно-исторических эпох, а «птенцы», «сыны» одной и той же поэтической школы «восточного красноречия». «Низал он хитроу рукой», «его рассказы расстигались, как эриванские ковры», «вымышлял... так хитро» — все изобразительные средства воссоздают характерную манеру поэтического красноречия Востока, чуждую европейским эстетическим нормам вообще и в особенности «вкусу и взору» современного поэта. Недаром Пушкин в письме к П. А. Вяземскому (конец марта—начало апреля 1825 года) упрекал Мура за то, что он «черес чур уже восточен» и уродливо подражает «ребячеству и уродливости Саади, Гафиза и Магомета. — Европеец, и в упоении восточной роскоши, должен сохранить вкус и взор европейца».<sup>7</sup>

Согласно интерпретации Н. В. Измайлова, Пушкин и Мицкевичу ставит в упрек неумеренный ориентализм. Как утверждает комментатор, «современный европейский поэт... Мицкевич» «в известной степени... сопоставлен с ними («восточными красноречивыми», — М. Н.), даже поставлен в один ряд, хотя и на первое место, в том, что касается ориентальных черт его поэзии».<sup>8</sup>

В аргументации Н. В. Измайлова (так же как и Д. Д. Благого, и Б. В. Томашевского) решающим доводом выдвигался ориентализм «Крымских советов», еще

<sup>1</sup> «Русское слово», 1911, № 181, 6 августа.

<sup>2</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. III, ч. 1, Изд. АН СССР, 1948, стр. 129.

<sup>3</sup> М. Азадовский. Руставели в стихах Пушкина. «Звезда», 1938, № 5, стр. 228—231.

<sup>4</sup> Н. В. Измайлов. Мицкевич в стихах Пушкина. (К интерпретации стихотворения «В прохладе сладостной фонтанов»). «Ученые записки Чкаловского государственного педагогического института им. В. П. Чкалова», 1952, вып. 6, стр. 171—214.

<sup>5</sup> Д. Благой. Мицкевич в России. «Красная новь», 1940, кн. 11—12, стр. 307—314.

<sup>6</sup> Со ссылкой на «виднейших советских ученых» ее приняли и некоторые польские исследователи (см.: Г. Маркевич. Пушкин и Мицкевич. «Dziennik Literacki», 1949, № 23, str. 1). Аналогичной аргументации придерживался М. Горлин в статье «Неразгаданные стихи Пушкина о Мицкевиче», написанной, по-видимому, еще в 30-х годах, но опубликованной лишь в 1945 году в журнале «Новоселье». См.: Michel Gorlin et Raïssa Bloch-Gorlina. *Études littéraires et historiques*. Paris, 1957, pp. 157—161.

<sup>7</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 160.

<sup>8</sup> Н. В. Измайлов. Мицкевич в стихах Пушкина, стр. 213.

более подчеркнутый приложениями: переводом одного сонета на персидский язык и персидским же предисловием к этому переводу. В эпитетах «прозорливый и крылатый» усматривали «комплиментарную» оценку Пушкиным поэтического гения Мицкевича — провидца и импровизатора.<sup>9</sup>

Но для Пушкина Мицкевич всегда был поэтом подлинно европейским. В предисловии к «Песням западных славян» упомянут «поэт Мицкевич, критик зоркий и тонкий и знаток в славенской поэзии».<sup>10</sup> «Зоркий и тонкий», а не «прозорливый и крылатый» — такова весьма ощутимая для Пушкина грань между поэтом европейским и восточным.

Облик «прозорливого и крылатого поэта» не имел ничего общего с обликом Мицкевича, созданным Пушкиным в «Сонете», в отрывке из «Путешествия Онегина» и в позднейшем стихотворении «Он между нами жил».

Прежде всего автор «Крымских сонетов» для Пушкина не «поэт Крыма»,<sup>11</sup> а «поэт Литвы». От Пушкина не ускользнул многозначительный смысл эпитафии, взятого Мицкевичем из Гете:

Wer den Dichter will verstehen,  
Muss in Dichter's Lande gehen.

(«Кто хочет поэта понимать, должен в стране поэта побывать»). «Под сенью гор Тавриды отдаленной», «посреди прибрежных скал» — это лишь обстоятельства места, где поэт-изгнанник «свою Литву воспоминал». Для Пушкина «Мицкевич вдохновенный» — образ современного европейского романтического поэта. «Пел», «вспоминал», «свой мечты мгновенно заключал», «с ним делились мы и чистыми мечтами и песнями (он вдохновен был свыше и свысока взирал на жизнь)» — все это бесконечно далеко от образа восточного «волшебника милого», «владельца умственных даров», «хитро» «вымышлявшего» «сказки и стихи».

Не менее далек от родины польского поэта и образ

...той чудной стороны,  
Где мужи грозны и косматы,  
А жены гуриям равны.

И Н. В. Измайлов, и Б. В. Томашевский склонны видеть в последних стихах «указание на воспетую Мицкевичем Литву»,<sup>12</sup> ссылаясь на «описание молодых литовских воинов»:

«С медвежьей кожей на плечах,  
В косматой рысьей шапке...»<sup>13</sup>

(Из вступления к поэме  
«Конрад Валленрод» в  
пушкинском переводе)

Но ведь и грозный обитатель Кавказа, как писал М. К. Азадовский, ссылаясь на «Кавказского пленника», появляется в «косматой шапке». В «Словаре языка Пушкина» встречаем и «шлем косматый» («Руслан и Людмила»), и «косматых кирасир» («Песни западных славян»). Кроме того, возможно, что пушкинское «косматы» в данном случае характеризует не только головной убор.

Главное же, однако, в том, что для Пушкина Мицкевич — поэт не исторически-легендарной, а современной Литвы, да и описание «чудной стороны» выдержано в настоящем, а не в прошедшем времени, т. е. повествует о стране, где и сейчас «мужи грозны и косматы». Поэтому не приходится говорить о «грозных и косматых» предках Мицкевича; а к Литве времен поэта подобная характеристика явно не применима.

К тому же примыкающее к России «Царство Польское» никогда не представлялось Пушкину «чудной стороной»; «Литва и Русь» в его восприятии соседние и настоящее родственные славянские племена, что даже «вражда» между ними «семейная», а «спор» — «домашний».

Сомнительно и сравнение польских красавиц с гуриями, так как подобное применение к миру католических представлений символов магометанской мифологии несовместимо с реалистической конкретностью пушкинского творчества.

<sup>9</sup> Впрочем, «комплимент» оказывался с «проническими нотами», поскольку, как писал Б. В. Томашевский, «Пушкин адресует свои стихи тому, кто в своих стихах воспроизводил восточный стиль без той сдержанности, какая свойственна была Пушкину» (Б. В. Томашевский. Вопросы языка в творчестве Пушкина. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 168).

<sup>10</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. III, ч. 1, стр. 334.

<sup>11</sup> А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. III, Изд. АН СССР, М., 1957, стр. 491.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Н. В. Измайлов. Мицкевич в стихах Пушкина, стр. 193.

И хотя, по мнению Н. В. Измайлова, «оно вполне объяснимо общим „восточным“ колоритом стихотворения»,<sup>14</sup> даже принявший его гипотезу Д. Д. Благой «сопоставление литовско-польских красавиц с гуриями» находит «несколько экстравагантным»<sup>15</sup> (вернее было бы сказать — чуждым предельно точным сравнениям Пушкина).

Образ «чудной стороны» у Пушкина дан не как плод поэтического вдохновения поэта («воспетую Мицкевичем Литву»), а как ее объективная, реальная характеристика, определяющая и самого поэта «той чудной стороны».

Гипотеза Н. В. Измайлова не позволяет до конца разгадать смысл стихотворения в целом. Ограничиваясь самым общим его толкованием, Н. В. Измайлов указывал, что вопрос о «смысле сопоставления или противопоставления Мицкевичу восточных поэтов» «в настоящее время... не может быть полностью разрешен».<sup>16</sup> То же самое утверждал М. К. Азадовский. «В стихотворении, — писал он, — рассыпан ряд намеков, в расшифровке которых должны принять участие не столько даже пушкинисты, сколько специалисты по истории восточных литератур, — несомненно тогда раскроется и смысл того противопоставления Руставели и поэтов, посещавших Бахчисарай, которое делает Пушкин».<sup>17</sup>

Все это, быть может, резонно, но предположение, открыто отказывающееся истолковывать существо дела, теряет право быть научной гипотезой.

Считая, что «этим поэтам, льстецам и „краснобаям“, противопоставлен современный европейский поэт — Мицкевич», Н. В. Измайлов вынужден был делать оговорки. Первая относилась к «льстецам»: «Едва ли, однако, такая характеристика верна по отношению к самому Саади. Ширазский поэт был известен, как возвышенный моралист и мудрец...»<sup>18</sup> Вторая оговорка касалась «ориентальных черт» поэзии Мицкевича, хотя и «далекой от искusstвенности» восточных «краснобаев», но каким-то образом притыкающей к «поэтической школе» «сынов Саади» (сам «Ширазский поэт» из нее снова изымался).

Так возникал «обобщенный образ вдохновенного поэта вообще... не лишеного в то же время конкретных черт, свойственных творчеству Мицкевича».<sup>19</sup>

Неправомерно и отнесение к Мицкевичу определения «волшебник милый», «вполне естественного», по мнению Н. В. Измайлова, в «дружески-комплиментарном» стихотворении и «указывающего на близость, даже особую интимность обращения Пушкина к поэту-другу».<sup>20</sup>

Ведь строка

Но ни один волшебник милый

представляет собой обобщенно-безличный оборот и не может относиться исключительно к кому-либо в отдельности. С другой стороны, стихотворение «В прохладе сладостной фонтанов» не принадлежит к числу «дружески-комплиментарных».

Автор исследования «Мастерство Пушкина» А. Л. Слонимский солидарен с догадкой Н. В. Измайлова, но стихотворение интересует его больше как «восточная фантазия» и как «применения» «колоритной картины» «к самому Пушкину». Двух последних строф он вообще не касается, снимая вопрос о смысле содержащегося в стихотворении «противопоставления».<sup>21</sup>

В монографии Н. Л. Степанова за стихотворением Пушкина удерживается лишь «зеркальная» функция точного «изображения ханского Крыма», от «этнографических деталей» до «арабесок восточной поэзии».<sup>22</sup>

В обширном труде Б. П. Городецкого «Лирика Пушкина» (Изд. АН СССР, М.—Л., 1962) стихотворение «В прохладе сладостной фонтанов» даже не упомянуто.

## 2

Кто же все-таки он — «прозорливый и крылатый поэт»? Пушкин не зашифровал свои стихи, но многое оставлял на «догадку читателя». «... Не надобно все высказывать, — считал он, — это есть тайна занимательности».<sup>23</sup> Кажущаяся «загадочность» стихотворения «В прохладе сладостной фонтанов», в частности его концовки, — лишь выдержанный в стиле восточного «краснобайства» прием парафразы, косвенного названия лица или предмета. Как всегда у Пушкина, это «стиль, отвечающий теме».

<sup>14</sup> Там же, стр. 195.

<sup>15</sup> Д. Д. Благой. Мицкевич в России, стр. 314.

<sup>16</sup> Н. В. Измайлов. Мицкевич в стихах Пушкина, стр. 210.

<sup>17</sup> М. К. Азадовский. Руставели в стихах Пушкина, стр. 231.

<sup>18</sup> Н. В. Измайлов. Мицкевич в стихах Пушкина, стр. 212—213.

<sup>19</sup> Там же, стр. 214.

<sup>20</sup> Там же, стр. 191.

<sup>21</sup> А. Слонимский. Мастерство Пушкина. Изд. 2-е, Гослитиздат, М., 1959, стр. 146, 148.

<sup>22</sup> Н. Л. Степанов. Лирика Пушкина. «Советский писатель», М., 1959, стр. 51.

<sup>23</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 58.

Разрешить эту «загадку» поможет обращение к теме стихотворения.

Как ни различны догадки М. К. Азадовского и Н. В. Измайлова, в толковании темы и общего смысла стихотворения они весьма близки. Оба исследователя видят «соль» пушкинского замысла в «противопоставлении» «вдохновенного» «высокого искусства» в лице «великого собрата» Руставели или «своего друга» Мицкевича «поэзии упадка», «льстецам и „краснобаям“». Стихотворение становится эпиграммой на «эпигонов» и вместе с тем «комплиментарным» обращением к реальному лицу, которое и следует «расшифровать», к чему призывал еще П. Е. Щеголев.<sup>24</sup> Но результат «расшифровки» не повлиял на общий ход рассуждений, ничего не внес в анализ художественного целого.

По-своему трактовал тему пушкинского стихотворения А. Л. Слонимский. «Оригинальный элемент, — писал он, — который должен был играть в этом стихотворении второстепенную роль, получил явно преобладающее значение. Произошло обычное у Пушкина смещение темы: частная тема (похвала Мицкевичу) переросла в общую (сила фантазии)». Но в то же время он даже «в четырех строках» увидел нечто большее, чем «волшебная сила фантазии»: «... Тут и рабская атмосфера в дворцах восточных деспотов, и восточная „праздность“, и „хитрость“ поэта, ловко вставляющего в свои льстивые стихи нотки „мудрости“. И за всей этой великолепной, колоритной картиной что-то свое, применимое к самому Пушкину. Не он ли „низал“ в своих „Стансах“ (1826) и в стихотворении „Друзьям“ (1828) „прозрачной лести ожерелья“, чтобы влести в них „четки мудрости златой“ и быть услышанным русским „ханом“ Николаем? Не он ли под видом лести призывал его быть „незлобным памятью“, „сеять просвещение“ и „не презирать страны родной“?»<sup>25</sup>

Приведенное нами рассуждение А. Л. Слонимского, абсолютно справедливое, опровергает его же тезис о том, что «основной темой стихотворения „В прохладе сладостной фонтанов...“ (1828) является не проповедническая миссия поэта, как в „Пророке“, а волшебная сила фантазии».<sup>26</sup>

«Глагол» и «фантазия» — равноценные, если не равнозначные, атрибуты поэта. И поэтому стихотворение «В прохладе сладостной фонтанов» должно быть поставлено в один ряд не только с «Пророком», но со всем циклом пушкинских произведений, посвященных проблеме поэта и поэзии.

Характерно, что большинство из них и хронологически примыкает или близко подходит к моменту создания интересующего нас стихотворения — к 1828 году.

Во многом перекликается с ним, например, отрывок 1827 года, окончательно также не отделанный:

Блажен в златом кругу вельмож  
Пиит, внимаемый царями.  
Владея смехом и слезами,  
Приправя горькой правдой ложь,

Он вкус притупленный щекотит  
И к славе спесь бояр охотит.  
Он украшает их пиры,  
И внемлет умные хвалы...<sup>27</sup>

Выражениям «приправя горькой правдой ложь», «он украшает их пиры» находим почти буквальные соответствия в сочетании «мудрости» и «лести», в «рассказах», которыми «ярко украшались Гиреев ханские пиры». Только в первом случае поэт «тешил» не «Гиреев», а русских «вельможных» «ханов» — «царей» и «бояр».

В обоих стихотворениях Пушкин верен исторической правде изображаемого и одновременно принципам своей художественной системы, в духе которой создан весь лирический цикл о «небом избранном певце», не отделимом от «червей земли» («Пророк» (1826), «Поэту» (1827), «Поэт и толпа» (1828), «Египетские ночи» (1835) и другие).

Таков образ поэта и в стихотворении «В прохладе сладостной фонтанов». В его арсенале и «лести ожерелья», и «четки мудрости». Он «удивлял» и «тешил». «Владелец умственных даров», он не отвергал и ханские («Любили Крым птенцы Саади»). Это — в одном лице — «восточный краснобай» и «волшебник милый».

Судя по некоторым вариантам, роль, отведенная в стихотворении «сынам (птенцам) Саади», первоначально предназначалась Самому «поэту Ш(ираза)». Например, третья строфа читалась так:

Крым любил Саади  
Порой Персидской краснобай  
Сюда свои тетради  
И навещал Бахчисарай<sup>28</sup>

<sup>24</sup> П. Е. Щеголев. Из жизни и творчества Пушкина. Изд. 3-е, ГИХЛ, М.—Л., 1931, стр. 324.

<sup>25</sup> А. Слонимский. Мастерство Пушкина, стр. 146, 148.

<sup>26</sup> Там же, стр. 146.

<sup>27</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. III, ч. 1, стр. 75.

<sup>28</sup> Там же, ч. 2, стр. 676.

Этому соответствует и употребление во всех остальных глагольных формах (за исключением слов: «расстилались... украшались», относящихся не к субъекту действия, а к его «рассказам») единственного числа: «тешил», «низал», «развивал», «удивлял», «вымышлял». Однако затем «поэт восточный», «Тегеранской» («Аравийской», «Персидской») красной — Саади — был отнесен «сынами», «птенцами», вставшими на его место. Поэтому выпал Саади и из предпоследней строфы, первая строка которой:

Но ни поэт Шкираза милый  
была заменена другой:

Но ни один волшебник милый.

Причина такой замены ясна. Первоначально Пушкин и Саади ставил в ряд «восточных поэтов» — «краснобаев» и «льстецов», а затем заштриховал в нем эти черты и, наоборот, акцентировал черты «прозорливого и крылатого поэта». Саади, воплощающий теперь почти безличную «силу» поэзии (оттого в строфе и стерт след его имени), противопоставляется его «птенцам», которым общественная среда придала вид и повадки придворных льстецов. Проходящий через все стихотворение образ «поэта» (не случайно само слово «поэт» входит в начальную и заключительную строфы) оказывается повернутым к нам в первых четырех строфах преимущественно стороной своих житейских слабостей, а в двух последних — в ракурсе творческой силы и мощи. В результате «сыны Саади» и сам «прозорливый и крылатый» «поэт Шкираза» вошли в систему образов стихотворения как «низкая» действительность и «возвышающий» идеал поэзии Востока.

Так же как в «Сонете» — живой истории и эстетическом кредо европейской лирики — не было места поэту восточному, так и здесь — в живой истории восточной поэзии (точнее, одной ее ветви) — не могло быть места поэту Западу.

Предельная точность и конкретность, свойственные художественной мысли Пушкина, дают основания считать, что «неизвестный», «загадочный», «прозорливый и крылатый поэт» несомненно принадлежал к той же «стороне» и к той же поэтической школе, что и «восточные краснобаи», украшавшие своими «рассказами» «пиры Гиреев». М. К. Азадовский и Н. В. Измайлов отождествили Крым с Востоком и превратили «птенцов Саади» в «придворных поэтов крымских ханов». Единство художественного «ключа» стихотворения было нарушено, а подмена поэтической школы Саади и его «птенцов» более общей приметой «восточного», «орIENTального» стиля позволила комментаторам ввести в оборот имена Руставели и Мицкевича.

В стихотворении содержится не одно «противопоставление», а, по крайней мере, два. Из шести строф ровно по две (убедительное свидетельство *композиционной завершенности стихотворения!*) отведено как бы трем персонажам. Первый — «поэт», «тешивший ханов» «стихов гремучим жемчугом», пронизанным «лестью» и «мудростью». За ним — «восточный краснобай» из «птенцов» Саади, чьи «тетради-рассказы» «удивляли Бахчисарай» и «украшали Гиреев ханские пиры». Наконец, «прозорливый и крылатый поэт», «вымышлявший» «сказки и стихи» для «мужей» и «жен» своей «чуждой стороны». Придворная и свободная поэзия — таков диапазон творчества «волшебника милого», «владельца умственных даров».

Близость «прозорливого и крылатого поэта» к «птенцам Саади», выразительно подчеркнутая стилистическим повтором («низал он *хитро* (курсив мой, — М. Н.) рукой» и «вымышлял так *хитро* (курсив мой, — М. Н.)»), не ограничивается общностью эстетических канонов.<sup>29</sup> Она уходит вглубь, к «жизненным брадам», социально-историческим условиям развития персидской поэзии, в которых (а не в атмосфере Крыма, даже в период татарского завоевания) формировался тип «восточных краснобаев», «посещавших Бахчисарай».

Пушкину эти условия были довольно хорошо известны, в частности, по «Истории Персии» Джона Малькольма, английского ученого и дипломата, долгое время занимавшего пост британского посланника в Тегеране. Французский перевод этого солидного, четырехтомного труда (Париж, 1821)<sup>30</sup> имелся в библиотеке Пушкина и несомненно был им прочитан (все четыре тома разрезаны).<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Объяснение: «искусно, изобретательно» (см.: Словарь языка Пушкина, т. IV. М., 1961, стр. 808—809) — не учитывает этой стороны дела. Ср.: «Изобразил так хитро на бумаге...» Здесь слово „хитро“ употреблено в старинном обиходном значении „искусно“...» (Г. О. Винокур. Язык «Бориса Годунова». В кн.: «Борис Годунов» А. С. Пушкина. Л., 1936, стр. 152). Применительно же к предмету стихотворения «В прохладе сладостной фонтанов» в слове «хитро» ощущается дополнительный смысл специфической школы «восточного краснобайства».

<sup>30</sup> «История Персии» Малькольма вышла в 1815 году; А. С. Грибоедов упоминает о ней уже в письме к С. Н. Бегичеву от 5 февраля (1819) года (А. С. Грибоедов. Сочинения. Гослитгиздат, М.—Л., 1959, стр. 408).

<sup>31</sup> Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. Библиографическое описание (Пушкин и его современники, вып. IX—X). Пб., 1910, стр. 279, № 1124

Вот что сообщал Малькольм о персидской поэзии: «Персы, как все восточные народы, любят сказки, басни, притчи. Объяснение тому простое. Там, где свобода неизвестна, где власть во всех формах деспотична, мысль, чтобы достичь цели, должна быть скрытой. Ухо деспота оскорбляется нагим выражением истины, и даже сам гений вынужден пользоваться единственными формами, под которыми его превосходство еще терпимо». Под «гением» автор разумел Саади и так писал о нем: «Персы гордятся произведениями своего великого моралиста Саади, совершеннейшим соединением в них воображения, науки, добродетели, учтивости. Его сказки, приуроченные ко всевозможным обстоятельствам, содержат уроки, самые полезные, и его поучения пользуются среди соплеменников авторитетом, придающим им силу законов. Призвание этого поэта-философа состояло в том, чтобы внушать людям добрые дела, а их правителям — милосердие и справедливость».<sup>32</sup>

## 3

«Среди дидактических поэтов Персии, — добавлял Малькольм, — Саади занимает несомненно первое место...»<sup>33</sup> Философско-дидактическую устремленность поэзии Саади и выражает образ Пушкина — «четки мудрости златой». У Малькольма встречаем и оговорки относительно крайностей восточного гиперболизма,<sup>34</sup> весьма близкие многочисленным отзывам Пушкина. Но в пушкинской «истине» голос «строгого историка» дополняется «мечтой поэта». Пересечение двух тенденций — типизации и идеализации — составляет существенное и неповторимое своеобразие поэтического реализма Пушкина. Вот почему образ поэта — «восточного краснбая» — в конце стихотворения героизируется, возвышается до «прозорливого и крылатого», а заодно поэтизируется и его «чудная сторона»:

Wer den Dichter will verstehen,  
Muss in Dichter's Lande gehen.

Примером аналогичной поэтизации может служить набросок 1829 года — обращение к Фазил-Хану, «придворному персидскому поэту», встреча с которым с неподражаемой верностью и юмором описана в «Путешествии в Арзрум». Пушкин «начал было высокопарное восточное приветствие», но «со стыдом принужден... был оставить важно-шутливый тон, и съехать на обыкновенные европейские фразы».<sup>35</sup> Нельзя, говорится в заключение этого комического эпизода, опрометчиво «судить о человеке по его бараньей шапке» («так называются персидские шапки»). Но не следует, как будет видно из дальнейших эпизодов «Путешествия», и переоценивать европейский «лоск» перса.

В поэтическом обращении к тому же Фазил-Хану грань между ним и европейцем, между «суровым Севером» и далекой страной персидского поэта<sup>36</sup> не только не стирается, а наоборот, искусно шлифуется:

Благословен твой подвиг новый,  
Твой путь на север наш суровый,  
Где кратко царствует весна,  
[Но где Гафиза и Саади]  
[Знакомы имена].

[Ты посетишь наш край] полночный,  
[Оставь же след]  
Цветы фантазии восточной  
Рассыпь на северных снегах.<sup>37</sup>

Та же четкая грань видна и между «чудной стороной», «где мужи грозны и косматы, а жены гуриям равны», и европейскими странами. «Грозны» не внешними атрибутами воинственности, как древние литвины у Мицкевича или черкесы

<sup>32</sup> John Malcolm. Histoire de la Perse... Paris, 1821, t. IV, p. 325.

<sup>33</sup> Там же, стр. 328. Ср.: «Саади, король персидских моралистов, наиболее сладкозвучный, грациозный и мудрый из всех поэтов Востока» (Marchant de Beaumont (Fr.-M.). Beautés de l'histoire de la Perse. Paris, 1820, t. II, p. 54).

<sup>34</sup> John Malcolm. Histoire de la Perse..., t. IV, стр. 329.

<sup>35</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VIII. ч. 1, стр. 452—453.

<sup>36</sup> Монтескье также рекомендовал своих персов людьми «другого мира», «знаненными из такого далека» (Монтескье. Персидские письма. Гослитиздат, М., 1956, стр. 369, 28). В фельетоне Ф. Булгарина «Литературные призраки» (1824) о выведенном под именем Талантина Грибоедове говорилось, что он «недавно прибыл в столицу из отдаленных стран» (цит. по: А. С. Грибоедов. Сочинения, стр. 718). «Другой мир», «отдаленные страны» предполагает и эпитет: «чудной (курсив мой, — М. Н.) стороны».

<sup>37</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. III, ч. 1, стр. 160.

у Пушкина, а по натуре, обычаям и нравам, отмеченным печатью фанатизма, необузданности и кровавой дикости. Эти качества персов сделались особенно хорошо известны (и не только из литературных источников,<sup>38</sup> но также по личным впечатлениям) как раз в годы русско-персидской войны (1826—1828).<sup>39</sup>

Достаточно вновь припомнить «Путешествие в Арзрум» с трагически потрясающим «Грибоедом», чтобы ощутить реальный смысл эпитета «грозный». Грибоедовское «совершенное знание того края, где начиналась война», было одним из источников ознакомления Пушкина с «грозностью» персов. «Вы не знаете этого народа», — передает Пушкин фразу Грибоедова, сказанную при их последней встрече. Грибоедов говорил о неминуемости «резни», «кровопролития». «... Пророческие слова Грибоедова, — добавляет Пушкин, — сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства».<sup>40</sup>

Не менее реален и локален второй эпитет, характеризующий мужей, — «косматы». Дело тут не в одном головном уборе, как полагали М. К. Азадовский и Н. В. Измайлов, хотя «баранья папаха» («персидская шапка») вряд ли уступит «косматой шапке» черкесов — грузин (аргумент М. К. Азадовского) или «косматой рысей шапке» «юных литовцев» (аргумент Н. В. Измайлова). Пушкинский образ собирает в себя все неисчислимое и неисчерпаемое богатство конкретных определенных предмета.

В данном случае важно не то значение эпитета, которое одинаково подходит к разным «племенам»: и к черкесам, и к литовцам, и к персам, и к славянам — восточным («шлем косматый» в «Руслане и Людмиле») и западным («косматых кирасир»), а тот оттенок значения, который указывает на более специфический признак. По современным Пушкину описаниям, персы косматы, и не в переносном, а в самом прямом и буквальном смысле слова. Известно, что длинные волосы в Персии были одним из признаков военного сословия.<sup>41</sup> Молва о необычайно пышной и длинной — от глаз и «почти до колен» — бороде персидского шаха распространилась далеко за пределы Персии. «Достопримечательность» эта описана в русских журналах той поры. «... Красота сей бороды, — читаем в перепечатанной выдержке из „Путешествия г. Кюцебу в Персию“, — прославляется во всей Персии...»<sup>42</sup>

Приведем любопытное свидетельство Адама Олеария: «Мужчины гладко бреют волосы на голове, именно через каждые 8 дней. Поэтому у них нет того,

<sup>38</sup> «Персидские повести входили в моду», — замечает Ю. Тынянов (Юрий Тынянов, Сочинения в трех томах, т. II, Гослитиздат, М.—Л., 1959, стр. 200). Малькольм писал о кочующих «воинственных племенах», составлявших треть населения Персии: «Они грубы, свирепы и хищны» (John Malcolm. Histoire de la Perse..., t. IV, p. 473). Историком отмечаются «постоянные войны» и «жестокость» наказаний (там же, pp. 296, 194—196). Во многом аналогичная картина жизни дикого племени езидов набросана в приложении к пушкинскому «Путешествию в Арзрум во время похода 1829 года».

<sup>39</sup> Хотя, по описанию барона Ф. Корфа, персидские солдаты «вовсе не имеют воинственного вида» и необыкновенно трусливы (Ф. Корф. Очерки Персии. «Библиотека для чтения», 1836, т. XVIII, отд. 1, стр. 229—231). Иначе писал об этом автор книги «Картина последней войны России с Персией. 1826—1828», отмечая, что Персия «считала воинскую доблесть первую добродетелью» (П. Зубов. Картина последней войны России с Персией. 1826—1828. СПб., 1834, стр. 33). Треть населения Персии составляли воинственные кочевые племена. «Жестокость и кровожадность» персидских шахов и ханов была общеизвестна (см.: там же, стр. 9, 129. Ср.: С. В. Шостакович. Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова. Соцэкиз, М., 1960, стр. 50). В России знали о «грозности» персов: «налетел, как персидский разбойник» (Юрий Тынянов, Сочинения в трех томах, т. II, стр. 14). «... Ог души радуясь, — писал Грибоедов Н. А. Каховскому 3 мая 1820 года, — что вы сохранили переступили за между восточных абдеритов. Персияне пугали вас вооружением, все не так страшно, как моя судьба жить с ними и, может статься, многие дни!» (А. С. Грибоедов. Сочинения, стр. 524). В донесении А. С. Грибоедова Паскевичу (1827) неоднократно ссылки на дикий, необузданный «характер персиян» (А. С. Грибоедов. Сочинения, стр. 597, 605, 606). Отклик Пушкина на «войну», «походы боевые», «бой кровавый» с «персиянами» («Видали ль в Персии Ширванской полк?... Ш—«ирванской» полк могу сравнить с октавой») см. в беловом автографе «Домика в Коломне» (Пушкин, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 374).

<sup>40</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VIII, ч. 1, стр. 461.

<sup>41</sup> Юрий Тынянов, Сочинения в трех томах, т. II, стр. 84. Эта характерная деталь встречается в романе неоднократно. «Сарбазы», в том числе русские солдаты, акклиматизировавшиеся в Персии, изображены «с длинными волосами и бородами» (там же, стр. 84, 376).

<sup>42</sup> «Азиатский вестник», 1825, кн. 5, стр. 359. «Как длинна борода царя, — заметил в своих путевых записках Грибоедов. Упоминает он об этом и в письме к Катенину (1820) (А. С. Грибоедов. Сочинения, стр. 416, 521).

что пишет Сенека в 124 письме: „Parthorum crines effluere“, т. е. они носили длинные волосы. Это могло относиться только к Сеидам (Seid), потомкам Магумеда, которые носили на голове длинные волосы, так как такие носил и Магумед. Но персияне носят зато длинные, висящие вниз усы, и чем длиннее они могут отпустить их, тем более это нравится им. Подбородок они также бреют, за исключением их Пиров (Pyhr), старых, святых людей... эти люди отпускают длинные и широкие бороды и бакенбарды, подобно русским, и такие бороды у них в большом почете».<sup>43</sup>

Словом, «косматы» — понятие вполне реальное.<sup>44</sup>

Кроме того, в описании внешнего вида персов А. Олеарий упоминает и мохнатые персидские шапки, обшитые бараньим мехом «длиною с палец».<sup>45</sup>

Эстетически конкретен и второй атрибут «чудной стороны»: «жены гурьям равны». Это традиционное сравнение персидской поэзии. Недаром у Пушкина слово «гурьи» встречается лишь один-единственный раз — в данном стихотворении и нигде больше,<sup>46</sup> так же, как и слово «прозорливый».<sup>47</sup> Но сравнение с гурьями у Пушкина не исчерпывается признаком внешней красоты.

«Дева рая» — понятие не только эстетическое, но и этическое, «награда» «по достоинству заслуг» ожидающая «праведных мужей» (см. одноименное стихотворение Гете и его стихотворный диалог «Впуск»)<sup>48</sup> Вспомним вторую строфу «Татарской песни» из «Бахчисарайского фонтана»:

Блажен, кто славный брег Дуная  
Своею смертью освятит:  
К нему навстречу дева рая  
С улыбкой страстной полетит.<sup>49</sup>

Все это вполне соответствует моральным критериям Востока и дидактической поэзии Саади.<sup>50</sup>

Очень характерны для личности и поэзии Саади эпитеты «прозорливый и крылатый». Их содержание тоже очень конкретно. «Прозорливость» — отнюдь не «пророческие импровизации» Мицкевича,<sup>51</sup> не «вдохновенные чистые мечты». Она — дар, связанный не с «пророчествами притов», в которые «верует» у Пушкина самозванец, не «вдохновенный гимн», порожденный «восторгом» (все это истинные или ложные приметы «латинской», т. е. европейской, «музы»). «Прозорливость» Саади — зрелый плод его бесконечных, тяжких скитаний и долгих философских размышлений над жизнью, подлинное и высочайшее олицетворение «мудрости златой». Иными словами — это одухотворенная мудрость народа. Поэтому она «крылата». Чтобы жить в веках, мысль должна облечься в чеканную, «крылатую» форму афоризма. И действительно, как единодушно утверждают старые и новейшие исследователи персидской поэзии, «многие из афоризмов Саади стали уже давно „крылатыми словами“ и поговорками».<sup>52</sup> «Твой слог могучий и крылатый» «?», — говорил Пушкин, обращаясь к Дельвигу,<sup>53</sup> явно льстя своему любимому другу-поэту.

Богатство конкретных, точных и емких, определений вложено и в другие черты поэта «чудной стороны». Никто лучше него, «с такою силой», «так хитро», как бы подсказывает Пушкин, «не вымышлял» «сказок и стихов».<sup>54</sup> Эти строки очень точно передают оригинальность и специфику поэзии Саади. При всем вели-

<sup>43</sup> Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, составленное секретарем посольства Адамом Олеарием. «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1869, кн. III, отд. IV, стр. 764—765.

<sup>44</sup> Ср.: «косматый баловень природы» («Послание Дельвигу», 1827).

<sup>45</sup> Подробное описание путешествия... стр. 768. Таковы они и на рисунках, сделанных, как предполагают, по рассказам Пушкина, вернувшегося из путешествия в Арзрум. См.: Рукою Пушкина. «Academia», М.—Л., 1935, стр. 695—697.

<sup>46</sup> Словарь языка Пушкина, т. I, стр. 566.

<sup>47</sup> Там же, т. III, стр. 813.

<sup>48</sup> Иоганн-Вольфганг Гете. Избранные произведения. Гослитиздат, М., 1950, стр. 107—108.

<sup>49</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 159.

<sup>50</sup> Ср. намек на семейно-бытовые нормы в варианте: «И муж супругу» «?» (Пушкин, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 678).

<sup>51</sup> Н. В. Измайлов. Мицкевич в стихах Пушкина, стр. 190.

<sup>52</sup> И. С. Брагинский. Из истории таджикской народной поэзии. Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 350.

<sup>53</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. III, ч. 1, стр. 249.

<sup>54</sup> Называя набросок, опубликованный П. Е. Щеголевым, «одним из интересных замыслов Пушкина» и возражая некоему г. Л., который отрицал принадлежность его Пушкину, В. Брюсов особо отметил, что «эти два стиха... даже не зачеркнуты им в рукописи» (В. Брюсов. Новости пушкинской литературы. «Русская мысль», 1912, кн. 3, стр. 19).



чий и гениальности («с такой силой») <sup>55</sup> он остается поэтом определенной, именно персидской школы. Он не «поет», не «бряцает на лире», а «хитро вымышляет» (словосочетание, употребленное Пушкиным тоже один-единственный раз!). Даже соединение «сказок и стихов» у Пушкина не случайно. Известный сборник Саади «Гулистан» написан «прозой, перемежающейся со стихотворными вставками». <sup>56</sup> Стихи, содержащие краткие наставления, поучения, Саади действительно «хитро» перемежал сказками, рассказами, притчами, на что сам обращал внимание читателя.

Создавая поэтическую характеристику Саади, Пушкин, как всегда (см., например, «Сонет»), широко использует биографию и свидетельства самого изображаемого исторического лица. «Мужички» и «женушки» как бы перешли к Пушкину со страниц Саади. Газели последнего посвящены «девам-гуриям». «О пери с блистающим ликом», — обращается поэт к возлюбленной.

«Зачем, Саади, ты так много поешь о любви?» — мне сказали,  
Не я, а поток поколений несметных поет о любимой! <sup>57</sup>

Эпитеты «прозорливый» и «крылатый» применительно к поэту часто употребляются Саади. Характеризуют они и самого автора («Бустана»: «Хызром (один из пророков, — М. Н.) будь крылатым»). При этом «прозорливый» означает высшую степень мудрости («судьбы взглядом прозирает»), «крылатый» — высшую степень мастерства, формального совершенства («они крылаты, словно ветер степной»). <sup>58</sup> Именно таковы изречения Саади. «Ты изящно выразил тонкую мысль», — сказано в «Гулистане», где «жемчуг спасительных увещаний нанизан на нитку хорошего слога». <sup>59</sup> «Для наших душ волшебник ты великий», — аттестует Саади самого себя, приводя отрывок «из стихов Саади». <sup>60</sup> Ясно звучит в них и мотив противопоставления себя поэтам-льстецам, тоже как бы подхваченный и развитый Пушкиным, который, если даже всего этого не знал, проницательно угадал, домыслил силой своей художественной интуиции.

Саади был врагом татарских ханов, завоевавших его страну, а «сыны Саади» «тешили» их, вернее «украшали их пиры». Саади говорил о себе:

Я шахов и царей не восхвалял. <sup>61</sup>

Это прямо перекликалось с пушкинским:

Я не рожден царей забавить.

«Советы», даваемые шаху в «двустипиях Саади», неприязнь поэта по отношению к «владыкам» <sup>62</sup> могли укреплять Пушкина в его собственных принципах гордой независимости. Наконец, в пушкинскую характеристику великого персидского поэта вошли декларации Саади о своей «вечной славе», возвышающей его и над предшественниками, и над преемниками:

В саду песнопений еще ни единый  
Такой не вздымался напев соловьиный.

«... И не каждый из тех, кто попытается с тобой состязаться, достигнет желаемой цели: счастье дается не ратоборством». Это «духовный отец», <sup>63</sup> как назы-

<sup>55</sup> Ср. выражения: «... певец, певедомый, по милый... воспетый им с такою чудной сплой...» (М. Ю. Лермонтов, «Смерть поэта»); «... с такой силой, которая свойственна только гениальным художникам...» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 302).

<sup>56</sup> И. С. Брагинский. Из истории таджикской народной поэзии, стр. 350

<sup>57</sup> Саади. Бустан. Лирика. Гослитиздат, М., 1962, стр. 457, 475, 479.

<sup>58</sup> Там же, стр. 52, 198.

<sup>59</sup> Саади. Гулистан. Гослитиздат, М., 1957, стр. 219, 298.

У Лермонтова наоборот: «На мысли, дышащие сплой, как жемчуг нижутся слова» — тоже след влияния «восточного слога».

<sup>60</sup> Саади. Гулистан, стр. 209.

<sup>61</sup> Саади. Бустан. Лирика, стр. 45. «Своим наивысшим достижением поэт считал то, что он смело говорил правду, не приспособлялся к власти имущим, подобно придворным панегиристам» (И. С. Брагинский. Из истории таджикской народной поэзии, стр. 346).

<sup>62</sup> Еще Адам Олеарий, указывая, что персы боятся своего царя «более даже, чем бога», сослался на авторитет поэта: «Можно бы сказать им так же, как Саади в персидском „Саду роз“ сказал боязливому слуге царя:

Если б так же, как монарха, бога чтил ты и страшился,

То как ангел воплощенный перед нами б ты явился»

(Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906, стр. 224).

<sup>63</sup> Саади. Избранное. Таджикгосиздат, 1954, стр. 109, 110, 114.

вал себя Саади, предупреждает своих «сынов», «птенцов» (по сходной терминологии Пушкина). Любопытно, что выражение: «сыны Саади», перекликающееся с официальным персидским титулом «шах-заде» — сын шаха, возводило Саади в ранг родоначальника целой поэтической династии.

## 4

Интерес Пушкина к Саади и проникновенность пушкинского образа поэта определяются двумя взаимосвязанными моментами. Саади — одно из явлений мировой ренессансной культуры<sup>64</sup> и вместе с тем поэт патриархально-феодального, деспотического государства, во многом близкого царской России,<sup>65</sup> стране восточной Европы, с рождающейся в условиях самодержавия народной литературой.

Знал ли Пушкин Саади в сколько-нибудь значительных масштабах? Ведь даже эпиграф из Саади к «Бахчисарайскому фонтану»,<sup>66</sup> как считал Б. В. Томашевский, Пушкин заимствовал у английского поэта Мура, хотя сам Мур называл это изречение Саади «хорошо известным». Указывалась и причина такого «посредничества»: «„Бустан“ в те годы не был переведен ни на один европейский язык».<sup>67</sup>

Но это неверно. Еще в XVII веке «Сады» Саади переводились на многие языки, сначала с латинского перевода. В XVII же веке «Гулистан» и «Бустан» перевел с подлинника на немецкий язык известный путешественник Адам Олеарий.<sup>68</sup> Ссылаясь на свой перевод и ставя «богатого мысля» Саади на первое место среди «лучших стихотворцев» Персии, Адам Олеарий так писал о нем: «По изяществу языка персияне весьма охотно и прежде всего читают Kūlstan высоко прославленного во всем Востоке поэта Ших-Саади... Ибо поэт этот, вместе с изящным слогом красноречия, приводит и множество мудрых государственных правил, изложенных стихами, и в Персии нет человека, умеющего читать и писать, который бы не имел у себя в доме этой книги; а кто хочет быть хоть немного учнее и поважнее, у того эта книга и в голове, как это достаточно и с удовольствием можно заметить на их пирах, во всякого рода обращении их друг с другом и в разговорах; ибо при этом обыкновенно приводится стихотворение, содержащее в себе какую-нибудь вызывающую на размышление поговорку, или сравнение».<sup>69</sup>

Интерес к творчеству Саади в России был велик. В Кюхельбекер в альманахе «Мнемозина» за 1824—1825 годы, призывая к изучению Гафиза, Саади и Джами, «которые ждут русского читателя», писал: «Россия по самому своему географическому положению могла бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии». Ф. Булгарин в «Литературных призраках» («Литературные листки», 1824, ч. III, № 16) добавлял к этому, что литература Востока «тем занимательнее для русских, что мы имели с древних времен сношения с жителями оного».<sup>70</sup>

В «Азиатском вестнике» за 1825 год выражалось сожаление, что «только по переводам иностранных писателей знакома нам словесность Персии, самая приятная и самая образованная на Востоке».<sup>71</sup> В том же «Азиатском вестнике» за

<sup>64</sup> Н. Конрад. Шекспир и его эпоха. «Новый мир», 1964, № 9, стр. 206.

<sup>65</sup> О близости монархического правления Персии и России писал еще А. Олеарий (Подробное описание путешествия... стр. 834).

<sup>66</sup> На принадлежность эпиграфа «Бахчисарайского фонтана» поэзии Саади (его поэме «Бустан») указал К. Чайкин. Одновременно задачей К. И. Чайкина было доказать, что эпиграф «Бахчисарайского фонтана» не столь уж далек от оригинала. Но разве исключено, что Пушкин сознательно отошел от «изречения» Саади в соответствии со «вкусом европейца»? В самом деле, почему бы переводам, известным Пушкину, не быть точными? Но Пушкин дал не перевод, а эпиграф, созвучный заглавию поэмы. Как отметил Б. В. Томашевский, «переводы» Пушкина вообще не переводы в обычном смысле, а свободная трансформация мотива, образа.

<sup>67</sup> Б. Томашевский. Пушкин, кн. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 506.

<sup>68</sup> Тогда же с немецкого был сделан и первый русский перевод (см.: Р. Алиев. «Бустан» и его автор. В кн.: Саади. Бустан. Лирика, стр. 25). Опубликован был первый русский перевод отрывка из Саади в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» за 1796 год (см.: История литературы народов Средней Азии и Казахстана. Изд. Московского университета, 1960, стр. 24). «Гулистаном» в переводе Олеария пользовался и Гете (см.: Л. М. Кессель. Западно-восточный синтез в гетевском «Диване». «Народы Азии и Африки», 1963, № 2, стр. 126).

<sup>69</sup> Подробное описание путешествия... стр. 772, 815, 824. Минувшие столетия еще более упрочили славу поэта. «Что же касается Саади, то его „Гулистан“ давно уже сделался заветной всеобщей книгой житейской мудрости» (В. Тардов. Персия и ее культура. «Русская мысль», 1912, кн. 2, отд. 2, стр. 92). Любопытно, что это писалось вслед за опубликованием пушкинского стихотворения и все же не давало «ключа» к его разгадке.

<sup>70</sup> Цит. по: Ю. Тынянов. Архаисты и Пушкин. В кн.: Пушкин в мировой литературе. Госиздат, Л., 1926, стр. 277, 392, 393.

<sup>71</sup> «Азиатский вестник», 1825, кн. 8, стр. 90.

1826 год помещен отрывок статьи И. Ботьянова о персидской поэзии. Говоря о переводах Саади на латинский, французский и немецкий языки, автор писал: «Некоторые, но весьма немногие из стихотворений Саадиевых переведены на Рос. язык, а еще менее с персидского подлинника».<sup>72</sup> Журнал пытался по возможности восполнить этот пробел, поместив несколько басен Саади («Кусок земли», «Разговор соловья с трудолюбивым муравьем»), описание «Гробницы Саадия» и статьи, содержащие краткие сведения о жизни и произведениях Саади.

О «Гулистане» говорилось: «Истины в сем сочинении изложены в виде исторических примеров и остроумных апологов (притчей), всегда оканчивающихся каким-нибудь правилом мудрости».<sup>73</sup> В заметке о Джамии («Азиатский вестник», 1825) автор сопоставляет его «Бехаристан» с произведениями Саади.<sup>74</sup>

К «первой степени» относил Саади и его «подражателя» Джамии президент императорской Академии наук С. С. Уваров в речи 1818 года. «...Высказывания последнего о восточных литературах, — пишет М. И. Гиллельсон, — по-видимому, наряду с другими факторами возбудили интерес Пушкина к этим литературам».<sup>75</sup>

В числе многих «факторов» следует назвать и произведения европейских писателей XVIII—начала XIX века, из которых Пушкин мог черпать сведения о восточных литературах и, в частности, о Саади. Так, известно, что Вольтер перевел Саади белыми стихами с латинского перевода.<sup>76</sup>

Из находившихся в библиотеке Пушкина двух сборников стихов Саади во французских переводах один — «Панднаме» — был как раз издания 1828 года.<sup>77</sup>

С несомненным знанием дела характеризовал Пушкин «восточный, пестрый слог» («Гавриилиада», 1821), «восточную бессмыслицу, имеющую свое поэтическое достоинство» («Путешествие в Арзрум», 1829). Пушкину нравились стихи А. И. Подолинского.<sup>78</sup>

Когда, стройна и светлою,  
Передо мной стоит она,  
Я мыслю: гурья пророка  
С небсс на землю сведена.

(«Портрет», 1829)

Но Пушкин, в отличие от Подолинского,<sup>79</sup> ни разу не применил восточный образ «гурии» к европейской женщине.

Займствуя выразительное сравнение из «Гулистана» Саади («мы точь-в-точь двойной орешек под единой скорлупой»),<sup>80</sup> Пушкин отразил это в самом заглавии стихотворения — «Подражание арабскому» (1835).

В ряде высказываний Пушкина 20-х годов проводится мысль о ложном и истинном «восточном слоге» современных европейских поэтов. «Чересчур восточному Муру» противопоставляется Байрон, который «прелестен в Гяуре, в Абидосской Невесте и проч.». Мицкевич в «Крымских сонетах» следовал Байрону, а не Муру, потому они и нравились Пушкину. Общепризнано влияние Гете в обращении европейских поэтов к Востоку. Но остается бесспорным, что западно-восточный синтез гетевского «Дивана» был еще более органичен для «евразийца»<sup>81</sup> Пушкина.

Слова Саади, взятые Пушкиным как эпиграф к поэме «Бахчисарайский фонтан» (за которую его называли «нашим юным Саади»),<sup>82</sup> встречаются в его поэзии не однажды. «...Эпиграф его («Бахчисарайского фонтана», — М. Н.) прелесть»,<sup>83</sup> — не раз повторял Пушкин.

«Меланхолическим эпиграфом» объясняет Пушкин и замену первоначального названия поэмы — «Гарем».<sup>84</sup> Несмотря на замечания Бенкендорфа в связи с употреблением П. А. Вяземским изречения Саади в № 1 «Московского телеграфа»

<sup>72</sup> Там же, 1826, кн. 9—10, стр. 128.

<sup>73</sup> Там же, стр. 129. Ср.: «Смесь аскетических, моральных и политических сентенций и анекдотов» (John Malcolm. Histoire de la Perse..., t. IV, p. 68).

<sup>74</sup> «Азиатский вестник», 1825, кн. 5, стр. 347.

<sup>75</sup> М. И. Гиллельсон. Материалы по истории Арзамасского братства. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. IV, 1962, стр. 323—324.

<sup>76</sup> Marchant de Beaumont (Fr.-M.). Beautés de l'histoire de la Perse, t. II, p. 57.

<sup>77</sup> Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина, стр. 291—292, № 1181.

<sup>78</sup> Л. Майков. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899, стр. 254.

<sup>79</sup> Его первое печатное произведение, поэма «Див и Пери» (1827) — образец отвергаемого Пушкиным «восточного слога».

<sup>80</sup> М. Богданович. Две заметки о стихотворениях Пушкина. В кн.: Пушкин и его современники. Материалы и исследования, вып. XXVIII. Пгр., 1917, стр. 108. См. также: В. В. Виноградов. Стиль Пушкина. Гослитиздат, М., 1941, стр. 503

<sup>81</sup> Пушкин в мировой литературе. Госиздат, Л., 1926, стр. V.

<sup>82</sup> Цит. по: Б. Томашевский. Пушкин, кн. 1, стр. 521.

<sup>83</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 70.

<sup>84</sup> Там же, т. XI, стр. 159, 165.

(1827),<sup>85</sup> Пушкин перенес его сначала в черновой вариант стихотворения «На холмах Грузии», а затем в заключительные строфы «Евгения Онегина». Ссылка на «первоисточник» («Как Сади некогда (курсив мой, — М. П.) сказал») невидимыми, но прочными нитями связывала северный петербургский «роман в стихах» с южной крымской поэмой, а оба эти произведения — со стихотворным наброском 1828 года о «сынах Саади» («Поэт когда-то тешил ханов»; курсив мой, — М. Н.) и самом «прозорливом и крылатом поэте» Ширази, «сыне Персии богатой»,<sup>86</sup> как, на наш взгляд, следует читать один из вариантов последней строфы.

Оспаривая предположение М. К. Азадовского, П. В. Измайлов, помимо датировки (1828 год, а не 1829, т. е. до поездки поэта на Кавказ) и «законов всегда точной поэтики Пушкина», ссылался на то, что концовка стихотворения в качестве характеристики Руставели «недостаточна и непонятна для русского читателя».<sup>87</sup> Все эти доводы, за исключением разве первого, могут быть обращены и против Мицкевича. Наоборот, они теряют свою силу, если признать в «прозорливом и крылатом поэте» Саади, в «чудной стороне» — Персию, а во всем стихотворении — поэтическое отражение пушкинской темы поэта, развернутой здесь на локальном материале поэзии персидской.

При этом датировка стихотворения 1828 годом получает новое, веское подтверждение: после исполненной трагизма встречи Пушкина с «Грибоедом» поэтизация «чудной стороны» психологически была вряд ли возможна. Не потому ли обращение к Фазил-Хану (1829) так и осталось кратким наброском, а к шестистрофному стихотворению «В прохладе сладостной фонтанов» Пушкин никогда больше не возвращался, не придал ему последнюю отделку произведения завершеного, готового в печать.

В заключение остается добавить, что «кандидатура» Саади выдвинута не нами. Много ранее в статье А. З. Розенфельд «А. С. Пушкин в персидских переводах»<sup>88</sup> развивалась и аргументировалась мысль известного советского поэта и переводчика, знатока иранской культуры и литературы Абулкосима Лахути о Саади как адресате стихотворения «В прохладе сладостной фонтанов». Тот факт, что исследователь творчества Пушкина до сих пор как бы не замечали существования этой гипотезы, отчасти, быть может, объясняется тем, что она не опиралась на детальный анализ пушкинского стихотворения в его идейно-художественном, стилевом единстве.<sup>89</sup>

«... Всякое предположение, — писал Лессинг, — делается тем более вероятным, чем больше трудностей оно разрешает...»<sup>90</sup> В этом плане превосходство предположения А. Лахути над всеми другими гипотезами, на наш взгляд, несомненно.

Е. РЫСКИН

## О СТАТЬЕ Н. В. ГОГОЛЯ «О ДВИЖЕНИИ ЖУРНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 1834 И 1835 ГОДУ»

### Черновая и журнальная редакции статьи Гоголя

Статья Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», напечатанная в первом томе пушкинского «Современника», давно привлекает внимание исследователей. Интенсивное изучение истории ее написания и напечатания началось после опубликования В. И. Шенроком в 1896 году черновой редакции и набросков статьи.<sup>1</sup> В. И. Шенрок, преемник Н. С. Тихонравова по редактированию

<sup>85</sup> «... Часто с грустью повторяю слова Сади или Пушкина, который нам передал слова Сади: „Одних уж нет, другие страстную далеко“... Ср. у Марлинского в „Фрегате Надежда“: „Одних уж нет, другие странствуют далече!“» (цит. по: В. В. Виноградов. Стиль Пушкина, стр. 384).

<sup>86</sup> Обратим еще раз внимание на двукратные повторы («поэт... поэт», «сыны... сын», «хитроу... хитро») — явный след стремления Пушкина к цельности «сквозного» художественного образа — «поэта персидского».

<sup>87</sup> Н. В. Измайлов. Мицкевич в стихах Пушкина, стр. 181.

<sup>88</sup> «Вестник Ленинградского университета», 1949, № 6, стр. 81—101. Мы не сочли нужным дублировать аргументацию, содержащуюся в этой статье, и отсылаем читателя к ней.

<sup>89</sup> К тому же и сама А. З. Розенфельд считала, что предположение А. Лахути было высказано в слишком «категорической форме» (там же, стр. 98).

<sup>90</sup> Готхольд Эфраим Лессинг. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. Гослитиздат, М., 1957, стр. 295.

<sup>1</sup> Н. В. Гоголь, Сочинения, изд. 10-е, т. VI. М.—СПб., 1896, стр. 327—353. В V-м томе этого издания напечатаны журнальная редакция статьи Гоголя и примечания редактора Н. С. Тихонравова, содержащие ряд соображений о черновой редакции. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.